

ноправным пайщиком и вторым гребцом на баркасе «Светлана», под суровой командой моего атамана и учителя Коли Констанди.

Иногда — право же очень изредка — мы устраивали на берегу маленькие, шумные, но добродушные попойки. Еще реже я получал с далекого севера длинные узенькие конверты, подписанные очаровательными знакомыми каракулями. Ах, как нежна, упительна и благоуханна любовь... издали!

Не так давно, года четыре тому назад, вспоминая эту бесхитростную, но прекрасную жизнь, я написал и напечатал ровно восемь очерков под общим заглавием «Листригоны». Три мнения об этих простосердечных рассказах мне были особенно дороги: одного английского епископа и, должно быть, в глубине души тайного, но веселого язычника, который прислал мне из Лондона очаровательное и незаслуженно лестное письмо, другое — русского критика, писавшего мне на открытке, что море в Норвежских фьордах пахнет морем... и листригонами, и третье — самого Коли Констанди. Но, снисходительно похвалив меня в письме за правдивые описания морской ловли и кстати попросив выслать ему английских крючьев на белугу, Коля мне сделал в приписке справедливый выговор:

«А еще вы пишете, что на дне моря живет большой рак, и что когда он ударяет клешнями, то делается от этого буря... Это вы написали ерунду и даже чепуху. Такого большого рака быть не может. Про Летучего Голландца — это правда. Я сам о нем слышал. А вот рак — бабьи сказки...»

Милый Коля! Охотно, в угоду тебе беру моего чудесного рака назад. Но дело в том, что и ты сам, с твоею душой, широкой, щедрой и естественной, как море, с твоими зоркими глазами, столько раз выдавшими близко-близко смерть, с чистым ключом поэзии, звенящим незримо и неслышно для тебя, в твоём верном и крепком сердце — ты сам, в наши дни серого отчаяния, представляешься мне издали не меньшим морским чудом, чем легендарный рак, по чудом светлым, добрым и радостным, подобным твоей доверчивой улыбке.

Бог знает, жив ли ты, а если жив — (и дай тебе Бог дожить до ста с лишним лет) — то не стал бы ты с годами ворчливым, благоразумным и поучительным старикашкой? Но в воспоминании нашей молодости, которая нам казалась такой неистоцимой, в воспоминании нашей отваги, которая нам ничего не стоила, и

в воспоминании всех наших маленьких морских приключений я продолжаю мои прерванные очерки о незатейливом балаклавском житье-бытье. Я заранее не страшусь твоего резкого отзыва о них. И правда, в них могут сказаться недочеты памяти и воображения, или другие недостатки. Одного ты не найдешь в них: злобы.

Я немного опасаясь: не излишней ли является вся эта вставка между первой и второй сериями моих рыбачьих рассказов, которые, по справедливости, назвал между-словием, в отличие от предисловия, отличающегося также, по обыкновению, скукой? Но пусть так и будет для связи. Теперь к делу.

## X СВЕТЛАНА

Сентябрьские дни заторопили дачников и тех курортных мнимых больных, с которых мои балаклавские друзья драли такие несуразно-бешеные цены за сомнительный виноград, чауны и за катанье на лодках по бухте, необходимое для вдыхания целебного морского воздуха. Последним, в самом конце месяца, уехал какой-то тощий приват-доцент в золотых очках и в фильдекосовых перчатках. Покупая на пристани свежую, только что пойманную рыбу, еще вздрагивающую расщепом хвоста, он и к той опасался прикоснуться сквозь ткань перчаток, брезгуя тем, что ее раньше хватали грязные руки рыбаков. Ну и бог с ним, если уехали. Жалеть некому. Сразу забыты их имена, отчества и фамилии (всегда и разнообразно перевиравшиеся), их лица и привычки, их обещания приехать на следующий год и строгие наказания никому, кроме их, не сдавать квартиру. Зато с их шумным, пестрым и жалким отъездом Балаклава сразу почувствовала себя дома, и, как всегда, точно по волшебству, настали ясные, холодные, ослепительно-солнечные дни, обещающие ровную погоду, а, почему знать, может быть, и сносную ловлю на весь октябрь.

Коля Констанди и я, мы перегнали его баркас на тот берег, еще мало застроенный, еще не укрепленный камнями и сваями набережной. Там мы вытащили лодку далеко на песок, перевернули ее вверх килем, отчего она тотчас же получила неестественный и прозаический вид, вроде ребристой и брюхатой лошади в лежащей позе, и, вот, сидим, прислонясь к ее тепе вому брюху, между тем как около нас на газетном листе помещаются сыр, то